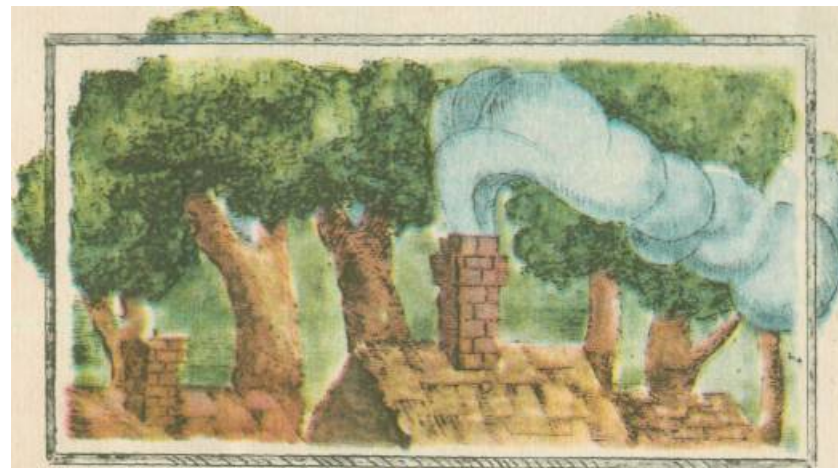




Печатается по изданию:
М. М. Пришвин. Собрание сочинений, т. 5,
М., Художественная литература, 1983



Было это давно, еще в царское время, и даже не при последнем царе. Мы жили тогда в небольшом рыжем домике — три окошка на улицу и позади сад. В нашем небольшом городке в каждом доме было: окна на улицу в пыль, а позади сад, разделенный заборами. Так было всюду в старое время, и сама Москва ничем не отличалась от провинции. Только в последнее время становится заметным, что сады, скверы и парки в Москве как бы выходят вперед, это для меня, садовника, самая большая новость и радость.

В наше старое время было правило, что впереди для всех пыльная улица, а позади дома сад для себя.

Так вот я хочу рассказать, как в одном городке, где мы жили, время переходило, и сады тоже в конце концов вышли вперед.

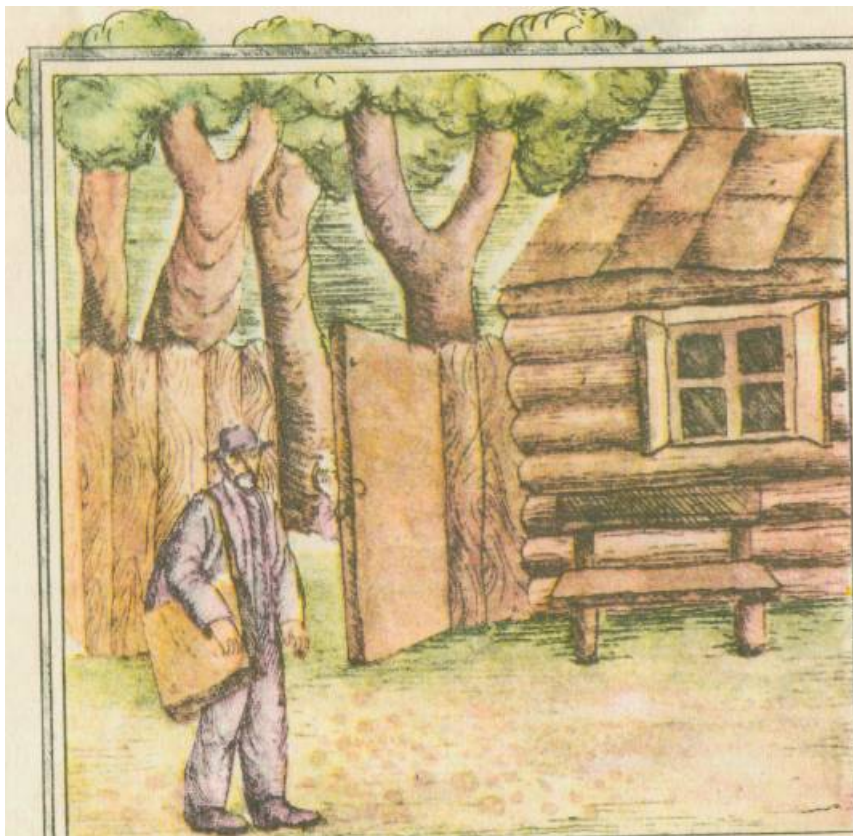
Было как-то раз, приходит в наш домик на Дворянской улице мужичок средних лет в синей блузе. Волосы его были русые, длинные, сапоги высокие, смазные, глаза голубые, и на конце лица висела острая бородка.

— Здравствуйте, добрые люди! — сказал мужичок. — Хлеб да соль.

Пришвин. М.
П77 Наш сад: Рассказ.—Орджоникидзе:
Ир, 1986—15 с.
5 к.

4803010101-16
М 131 (03)—86

84.P7



— Милости просим! — ответила мать.

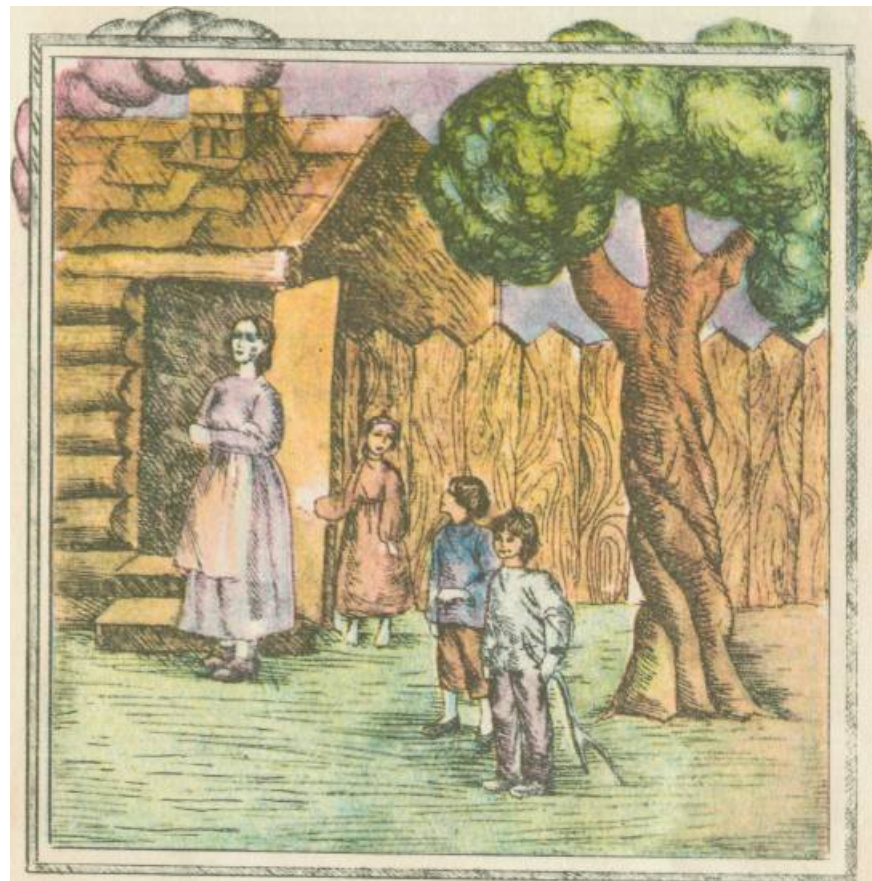
За спиной у гостя была сумка, в правой руке палка-писанка самодельная, в левой оказалось самое главное: ящик с красками.

— Я художник,— сказал он матери.— Нельзя ли у вас остановиться на все лето?

— Рада бы,— ответила вежливо мать,— да посмотрите сами: тесно, куда я вас дену?

— Баня у вас в саду свободная,— сказал художник,— я бы жил в ней, а когда плоды поспеют, я бы сад караулил.

А это такая правда была о карауле: бывало, как только плоды начинают поспевать, у нас по всему



городу воры зубы на яблоки точат, прямо настоящая война начинается, и хозяева даже и спят в садах с ружьями.

Возможно ли было нашей бедной матушке с малыми детьми охранять сад от разбойников! Еще хорошо, что сад был с плодами не каждый год. Но как раз в этот год, когда пришел к нам художник, яблоки и груши завязались с большой силой и урожаем ожидался очень большой. Вот почему предложение художника очень понравилось матери, и она ему так сказала:

— Я вдовой осталась с кучей маленьких детей,

мне очень трудно сад караулить. Я бы, конечно, и очень рада была вас пустить в баню, да только мне совестно: вы же не знаете, какая эта баня внутри — не баня, а завалюшка, мы же больше в ней не моемся, а сколько в ней мусору!

— Крыша еще не разъехалась? — спросил нас художник.

— Единственно только крыша, кажется, и ничего: даже не каплет, — ответила мать.

— Не каплет, — повторил художник, — а что еще нужно? Мусор же, какой бы он ни был и сколько бы его ни было, я уберу и мешать вам не буду: обед буду варить себе сам.

Мать, конечно, обрадовалась такому жильцу и пустила художника в баню.

И как же нам с Сережей понравился этот художник! Может быть, это детство наше так сказывается, но мне кажется, во всей своей долгой жизни я не встречал таких добрых людей. Он с того начал в саду, что возле самой бани вырдел глубокую яму и велел нам таскать в нее всякий хлам из бани: обломки кирпичей, гнилушки, железки, тряпки, ведра без дна. Набралась целая яма всякой такой дряни. После того мы яму со всех сторон засыпали землей, утоптали, и баня стала чистая. Мать пришла поглядеть, принесла белые тряпочки, столик, постелила, похвалила нашу работу и позвала художника обедать.

— Сделайте милость, никогда меня не зовите и ничего больше для меня, пожалуйста, не делайте, у меня такой принцип, чтобы делать все по возможности самому и людей своей особой не затруднять: особенно людей таких хороших, как вы. Я и так не знаю, как вас благодарить за сад: как хорошо он зарос, какая тишина: ни один листик не шевельнется.

— Да, — ответила мать, — погода стоит прекрасная. Только старайтесь ничем не задевать соседа: у нас с ним, как и всюду в этих маленьких домиках, спор постоянный, почти что война. И только все из-за одного дерева. Вышло так, что половина

веток с дерева свешивается через забор, и груши падают на его сторону. Мы, однако, не из-за того с ним спорим: что пало, то и пропало для нас, то пусть и будет его. Спорим мы с ним из-за того, что он всякими способами нахально помогает грушам падать на его сторону.

«Дерево, — говорю я, — стоит у меня — мое дерево, и плоды мои».

«Не все дерево стоит на вашей земле, — отвечает он, — у вас только корень, а ветки мои; у вас оно только стоит, а меня оно любит». Так ведь мало того, что трясет на свою сторону с тех веток, еще и длинным шестом с гвоздиком достает груши и с нашей стороны. В чем-нибудь он и к вам непременно придерется и вас достанет своим проклятым шестом. Это очень дурной человек, и недаром ему дали прозвище...

Мать не посмела выговорить прозвище соседа.

— А я очень люблю эти народные прозвища, — сказал художник. — Если можете, то, пожалуйста, скажите.

Мать ответила:

— Впрочем, ничего особенного. Его все в нашем городе называют Проглотом.

Вот теперь подходит рассказ мой к тому самому, из-за чего я на всю жизнь определился садовником, и люблю это самое дело больше всякого, и могу по-настоящему делать только сады. Скорее всего, думаю, любовь моя эта к саду пришла ко мне от художника, это он, наверно, обратил глаза мои навсегда в ту сторону.

Все лето он писал наш запущенный сад, и как это у него выходило чудесно, я до сих пор понять никак не могу. Начинает он писать какой-нибудь листик или веточку, грушу или яблоко — просто похоже, и больше ничего,. После того за этой обыкновенной грушей или яблоком пишет уже не так явственно, зато более привлекательно: глядишь, и тянет тебя не к этому первому, а куда-то по-



дальше. С каждым шагом в этом саду на картине тебя тянет все сильнее и сильнее вдаль. Кажется, будто кто-то взял тебя за руку и уводит, и чем дальше, тем становится все лучше и лучше, и плоды разные умоляют тебя их попробовать...

Слышал не раз я, что сны такие бывают, но сны-то ведь проходят, а картина, сделанная художником, остается. Я и теперь, на старости лет, в руке держу ведро с коровьим жидким навозом, обмазываю яблоньки, а сам вижу тот незабываемый сад без невзрачных старых заборов. Картину сделал художник,— так почему же я не могу сделать такой сад?



Вот из-за этого я и сделался на всю жизнь садовником.

Наш жилец хорошо выполнял свое обещание стеречь сад. Он всегда ставил свой мольберт против той груши, что стояла в нашем саду, а ветками любила соседа. Но мольберт он ставил свой большой холст на подрамнике, и сосед никак не мог видеть, что же именно делает художник. День проходит за днем, и разбирает соседа любопытство, а может быть, и досада: если так художник все лето будет торчать, закрываясь холстом, как же тогда воровать наши груши?

И вот однажды Проглот не выдержал, подзывает нас с Сережей и спрашивает:

— Что он там делает?

Мы ответили:

— Художник пишет груши.

Так прошло сколько-то времени, груши начали желтеть. Проглот опять нас подзывает:

— Что он сейчас пишет?

Мы отвечаем:

— Художник пишет груши.

Проглот разозлился:

— Все одни только груши и пишет?

— Зачем одни: раньше писал зеленые, а теперь пишет желтые. Как они вкусны, спелые желтые груши! Поди-ка их съешь!

И показали ему языки. Он же рассердился и кинул в нас палкой, но не попал. Мы же эту палку — обратно, и ему пришлось прямо по шее. Художник расхохотался, а Проглот всем нам кулак показал и крикнул:

— Вот вы дождетесь, скоро всем вам покажу кузькину мать!

Ну и, конечно, показал нам, и вот как это было.

Обед готовил себе художник всегда сам, и, видно, в этой заботе он находил себе отдых от работы. Мы же ему с базара все приносили: гречневую крупу, масло, чай, сахар, лук, селедки, огурцы, рыбу. Что скажет, то и принесем: базар был рядом.

Было раз так, что художник сел за обед и кот чей-то желтый, тигровый, роскошный приходит и тоже садится за стол рядом с художником.

Поласкал его, а кот поднял хвост и запел.

Долго любовался художник котом, и даже мы с Сережей, маленькие люди, поняли, как бедному художнику трудно жить одному, если он коту этому, как милому другу, обрадовался.

И что же, подумайте! На другой день, точно в тот час и минуту, кот является к обеду. День за днем проходит, и кот не пропускает ни одного обеда. Мало

того! Как-то раз после обеда кот идет за художником на место работы, трется щекой о мольберт.

А художнику и говорит ему:

— Перебирайся-ка, друг, к нам совсем, будем с тобой жить хорошо.

В ответ художнику кот повел себя так, будто он понял предложение жить и согласился. Только на какие-нибудь десять минут он убежал и опять появился совсем.

Плохо было, что все эти разговоры с котом Проглот слышал и хорошо понял, каким большим другом нашим сделался кот.

Сказать, что кот так-таки непрерывно и жил у нас, я не могу. Он жил, как все коты: уходил надолго, показывался на чужих крышах, на заборах. Обедать, однако, он всегда приходил и спал постоянно на одной постели с художником.

Случилось однажды, художник очень увлекся своей картиной и мы тоже замерли в удивлении: груши, яблоки, плоды всякого цвета свешивались массами, и людей никого не было в этом саду, а нам отчего-то казалось, будто мы там, в саду, невидимками, и много детей всяких, и все — невидимками.

Какой это чудесный был сад на холсте! Куда девались все наши почерневшие от времени заборчики! Никаких заборов на картине — один сплошной сад, и в нем невидимками люди.

Вдруг, очнувшись, мы видим: на той стороне забора нашего сада Проглот держит в руке нашего кота и надевает ему на шею петлю...

Мы толкнули художника.

— Что ты делаешь? — закричал он.

— Я обещал вам, — ответил Проглот, — показать кузькину мать. Вот и глядите: он съел у меня сорок цыплят.

— Отдай кота, — сказал художник, — я тебе за цыплят заплачу.

— Ладно, — отозвался Проглот, — по гривеннику за цыпленка дадите, я погожу вешать кота.



Мы получили приказ взять в бане новые штаны художника и бежать, бежать на базар что есть духу, продать не меньше как за четыре рубля и немедленно возвращаться с деньгами к Проглоту.

В один миг прибежали мы на базар и тут одумались.

— Как же быть, Сережа,— говорю я,— нехорошо будет художнику остаться без новой одежды. Погодим продавать, подумаем.

Сели мы на чью-то лавочку возле одного домика, стали думать и ничего другого не могли найти, как бежать обратно к маме и все ей рассказать.

— Вот, что, детки,— сказала нам дома мать,— вы очень хорошо сделали, что пришли со мной посоветоваться. Даю вам четыре рубля, а брюки у меня оставьте. Только смотрите, не говорите, что у вас деньги, скажите проклятому Проглоту — денег достать не могли и хотите заплатить грушами: по груше за цыпленка, как раз сорок груш. Если же не согласится, заплатите четыре рубля и возьмите кота.

Мы так и сделали. Пока художник обедал, мы натрясли Проглоту сорок груш, взяли кота, вернули художнику, а брюки мама сама ему принесла.

— Я же вас просила,— сказала она,— не связываться с Проглотом. Зачем вы это сделали? Вот он и показал вам кузькину мать.

Вот эта какая-то страшная кузькина мать оставалась у нас в душе с тех пор. И чем я старше делался, тем ясней мне становилась эта злая сила между людьми, разделенными друг от друга заборами. В каждом домике, в каждой лачужке, самой ветхой, в старое время невидимо жила эта злоба и разделяла людей.

Много с тех пор прошло времени... На старом месте насадили мы новый большой сад впереди домов, обнесли его решеткой с узорами и покрасили в зеленый цвет. Много людей работало над этим садом, и я всегда был у них старшим садовником.

И как видел я на картине сад без заборов, так и мы теперь делали этот самый сад. Какие дорожки в нашем саду, какие загадочные воротца между деревьями, какие встречи бывают между людьми на дорожках!

С утра до ночи я за садом приглядываю и указываю разное моим помощникам. Только уже когда совсем стемнеет, ворота в нашем саду запираются. Живу я тут в маленьком домике, и ключ от ворот у меня.

Так у нас вышел сад и стал впереди домов. Да и в Москве тоже так делается: раньше сады были позади домов — для себя, а теперь они выходят вперед — и для всех.

